

Даже спустя двадцать лет после выхода романа Юрия Козлова «Колодец пророков» продолжаю считать его шедевром интеллектуальной – но не для узкого круга избранных, а адресованной широкому кругу квалифицированных читателей – литературы.

Кто-то назвал роман триллером, являющим собой «редкий пример удачного освоения русским писателем жанра магического реализма», известного в варианте массолита по переводным романам Стивена Кинга. Кто-то – остро политическим произведением, в котором писатель «напряженно рассуждает над смыслом происходящих в России перемен и создает оригинальные образы и вымыслы, обоснования и пророчества». А кто-то вообще посчитал Козлова знатоком «кагэбэшной» магии, конспирологии и прочих дел, относящихся к той искусно закрученной чертовщине, к мастерам которой нередко относили Маркеса или Кастанеду.

Мне же представляется, что «Колодец пророков» в канун XXI века предвосхитил появление очень важных работ Джордо Агамбена о «чрезвычайном положении», которое из меры временной становится повсюду в мире постоянной категорией управления. К тому же Козлов предсказал массовое распространение в современном обществе, будь оно «западным»

или «восточным» (не имеет значения), человека типа homo sacer – «человека священного» (к примеру, как я и мой друг Юрий Павлов) и одновременно – «человека отверженного» (что вышеозначенный дуэт в реальности также воплощает).

Также я нахожу в романе многое из того, что было отмечено дочерью писателя, несомненно, талантливой Анной Козловой в качестве характерных признаков его прозы: и «умеренную политизированность», и «жизнеописательный скептический пафос», и «свифтовский прием самоиздевки», присутствие которой может быть постигнуто действительно подготовленным читателем. Ну и никак нельзя не согласиться с А. Афанасьевым, точно описавшим мифологические модели реальности, представляющим, как будет ниже показано, и для нас немалый интерес.

Не следует также забывать, что до «Колодца...» был «Геополитический романс», который помог мне в свое время начать составление типологии кавказских персонажей в русской прозе. Та повесть о тяжелейшем национальном унижении с наглым попранием основ русских ценностей, предельно зримом и убедительном, требовала какого-то логического завершения, интеллектуально-философского обобщения и

резюмирования нарисованной в повести картины русского Апокалипсиса, чем и стал роман 1998 года. Между двумя этими произведениями была и произошедшая в начале лета 1995 года трагедия в Буденновске, занимающая столь важное место в композиции романа. Направление той террористической атаки, из понятных чувств толкуемой власть предержащими как случайное, форс-мажорное, абсолютно немислимое стечение обстоятельств, в романе представлено как совершенно закономерное, абсолютно логичное и предсказуемое.

Козлов всегда был не только вдумчивым, но и эмоционально-чувственным аналитиком действительности – вот почему многие страницы его романа содержат столь значительное аффективное начало, которое и определяет в конечном счете саму суть реализованной в произведении коммуникативной модели. Правда, автор не связывает ее с абсолютно непредсказуемым развалом Союза, воспринимавшимся многими нашими соотечественниками результатом происков Тайных Сил, когда массовое сознание эпохи смутного времени представляло собой совокупность страхов и надежд растерянных, выбитых из привычной житейской колеи людей, которые с какой-то маниакальностью реанимировали мифы о масонах, «Семерых Тайных», «Совете Девяти», опутавших – по отдельности или вместе – своими сетями беззащитных россиян.

Понятно, что подобное мифотворчество имеет ярко выраженную компенсаторную функцию, ибо, с одной стороны, освобождает индивидуума от личной ответственности, а с другой – сообщает ему, как, впрочем, и всему беспомощному социуму, ореол значимости, рожденный осознанием своей исторической

судьбы, одновременно переводя смутные массовые фобии на высокий язык юнговских архетипов.

Роман был написан в ту пору, когда в отечественной науке шло острое обсуждение причин, формирующих этническую «картину мира», и мы с коллегами все более склонялись к доминированию ее когнитивного концепта, то есть на первый план выдвигался не психологический аспект, а характер информации о способе познания людьми окружающего мира. Благодаря ему возникали предпосылки увидеть мир как бы глазами «другого» и передать его порядок и категории, узнать о его философских представлениях и этических нормах. Собственно религиозные верования мусульман автора в романе не интересовали, он не занимался анализом картины мира и национального характера как единого целого, а вот разобраться во взаимосвязи различных ментальных комплексов с реальными объектами русского и вымышленного им гулийского народа он явно пытался. Мало того, Козлов вдруг проявил (хотя почему – вдруг?) интерес к постмодернистской критике, которой в те годы утверждалась невозможность понимания одного народа другим. Силлогизмы генерала Толстого и вождей непокорных гулийцев представляют собой высказывания, которые важно было записать, но не интерпретировать. Правда, затем, уже в недавние времена, особенно в романе «Враждебный портной», происходит психологический ренессанс, и Козлов вновь проявляет себя мастером изображения личностных когнитивных и мотивационных структур и культуры.

Тем не менее поиск мистической природы происходящих в обществе процессов занимает немалое место в «Колодце пророков». Он в

очень искусном виде отражает массовую социальную мифологию, где круто замешаны социальная демагогия, национализм, квазирелигиозные и паранаучные явления. Как и положено в такого рода литературе, «Колодец...» апеллирует к простым, хотя и фантастическим объяснениям, замещающим анализ сложных причинно-следственных связей между явлениями и событиями; в нем отсутствует, как того и требуют дефиниции жанра, целостная картина мира, зато, ничуть не сомневаясь в своем праве, автор пишет здесь не о том, что было, а о том, как могло быть. Или должно было быть. Во всяком случае, по его, автора, точки зрения.

...Россия в романе Козлова уже третий год ведет войну с входящим в ее состав, но провозгласившим себя независимым, мятежным Гулистаном – вымышленной горной республикой. Во главе ее стоит бывший генерал советской армии Каспар Сактаганов, или, как чаще его называют, генерал Сак, чей образ очень напоминает по целому ряду внешних примет Джохара Дудаева. Образ, кстати, лишен в романе очевидной карикатурности, как это можно видеть в произведениях М. Шараповой, С. Тютюнника, того же А. Проханова. Для России, как думает один из главных героев, эта война стала примерно тем же, чем была в свое время война Древнего Рима против нумидийского царя Югурты. Она расценивалась современниками как одна из самых позорных страниц в римской истории. Югурта открыто подкупал сенаторов, военачальников, влиятельных римлян. Война до крайности истощила казну государства, но никак не могла закончиться. Прославленные римские легионы каждый раз оказывались бессильными против партизанских отрядов нумидийского царя. Никто за это наказан не был, а

самого Югурту, когда пришло время, без лишнего шума удушили в тюрьме.

Самым ярким из героев «Колодца...» является, как того требуют жанровые каноны, герой-одиночка, социально маркированный как сын брошенной мужем прачки. Будучи абсолютно убежденным в тотальной измене высшей государственной власти, он, в отличие от автора «Чеченского блюза», собственно народ верхам нравственно не противопоставляет. Более того, стихийный, как окажется в дальнейшем, юнгианец Пухов даже склонен видеть в этом некое возмездие народу – за то, что «каждый конкретный, отдельно взятый гражданин мало любил свою родину, то есть каждый – и майор здесь не считался исключением – носил в душе “пятнышко измены”. Измена всегда более податливых к ветру времени верхов, в сущности, не была для народа неожиданностью. Народ сам толкал верхи к измене, предъявляя на уровне отдельной личности претензии к родине, которую в лучшем случае держал за злую тещу, но никак не за мать. И сейчас продолжал терпеть измену – тотальное разрушение всех основ, управление государством методом уничтожения государства – верхов, потому что на уровне коллективного бессознательного понимал: измена верхов есть следствие измены низов, то есть самого народа, в очередной раз предавшего собственное государство». Эта мысль получает художественную реализацию в тех сценах романа, где изображается распад когда-то могущественной империи и появления на ее месте созданной криминальными авторитетами финансово-промышленной группировки Drovosek.

С самых первых произведений (романов «Изобретение велосипеда», «Пустыня отроче-

ства», «Одиночество вещей» и др.) критика обращала внимание на их философичность – как главное свойство прозы Козлова. Работа мысли едва ли не каждого из его героев, столь же активная, как и их практическая деятельность, отчетливо выражает стремление автора рассматривать и анализировать главные конфликты времени в контексте больших философских проблем. Таким образом, с одной стороны, роман является благодатным материалом для исследования философских источников – в нем содержатся многочисленные ссылки на философов и ученых, а с другой – некоторые реминисценции и ассоциации носят ярко выраженный философский характер.

Так, в романе могущественный руководитель спецслужб генерал Толстой часто повторяет мысль Декарта о том, что всякая сильная воля есть, в сущности, наказание для человечества, потому что воля неизбежно побеждает ум. Развивая далее эту мысль, генерал видит трагедию воли в том, что конечным смыслом ее развития является подмена собой ума, стремление избавиться от ума – а если и не избавиться, то заставить его действовать в своих интересах. Российско-гулийскую войну генерал как раз и объясняет неконтролируемым – «раковым» – ростом клеток воли, оформляющихся (это, уверен генерал, единственная форма взаимодействия воли и ума) в почти всегда злокачественные «опухоли-идеологии». В нашем случае – в так называемую «гулийскую правду», тезисы которой высказал Пухову сам лидер мятежных гулийцев. По сути, это программа освобождения Гулистана от России, но любой ценой, даже ценой самоистребления народа, ибо существуют более серьезные, нежели жизнь и смерть, вещи, к которым, убежден автор «прав-

ды», в первую очередь относятся честь и достоинство.

Но столь упрощенная идейно-художественная интерпретация важного романного конфликта, ставшего особой приметой уходившего века, вряд ли могла устроить автора «Колодца пророков». «Гулийская правда», естественно, оказывается всего лишь удобным прикрытием для разработанной генералом Толстым стратегической концепции спасения России как государства. Ее в общем-то нехитрый смысл он раскрывает в разговоре с Пуховым, называя «русской планидой» то обстоятельство, что, «когда Россией управляют русские, они ее губят, приводят в упадок; когда нацмены – Россия поднимается до невысказанных высот». Генерал Сак об отведенной ему в этой концепции роли спасителя, безусловно, знает, как знает и то, что за это придется заплатить дорогую цену – свести на нет родной Гулистан. Желание хотя бы отчасти реабилитироваться за свой выбор в глазах фанатически преданного ему народа подвигает Сака на решение напасть на станцию Отрадную Ставропольского края, где в числе убитых оказывается мать Пухова.

Здесь завязка военной, российско-гулийской интриги в трехлинейной структуре романного сюжета, которую мы считаем, в отличие от большинства писавших о «Колодце пророков», основной, воплощающей в себе его главную идею. Ибо и мистическая линия, связанная с Августой, и историософская, где действует Илларионов-младший, будучи достаточно автономными, все-таки являются «ведомыми», создающими столь необходимый бытийно-философский антураж для «ведущей», в которой главным действующим лицом является майор Пухов.

Последний, незадолго до этого ушедший в запас и, следовательно, не имевший к «кавказским делам» никакого отношения, понимая, что теперь, когда за ним не стоит мощь государства, которое прежде «шло по его следам, как статуя Командора», вызов принимает и начинает свою собственную, персональную войну с мятежными гулийцами.

Подобного русская литература о Кавказе еще не знала. Тот же Л. Толстой в «Хаджи-Мурате» счел возможным охарактеризовать непризнание чеченцами русских за людей «таким же естественным чувством, как чувство самосохранения». Но чтобы нечто похожее всецело определяло поступки и помыслы русских героев, как нередко случалось с персонажами европейской колониальной литературы или «вестерна», представить было трудно.

Исторические реалии конца XX столетия изменили саму суть перманентного российско-кавказского противостояния. «Тайна номер один этой войны, сынок, — растолковывает Пухову генерал Толстой, — заключается в том, что гулийцы воюют не за независимость своего государства — им ее предоставят, как только они согласятся ее принять от русского правительства; не за свободу — все эти годы у них ее было в избытке; не за демократию — у них феодально-племенные отношения, — а исключительно против России как материальной и духовной (пока еще) реальности. Мы не можем их победить, сынок, потому что едва ли не половина населения России — национальная принадлежность здесь не имеет значения — ненавидит Россию точно так же, как и гулийцы. Тайна номер два этой войны, сынок, заключается в том, что Россия в Гулистане воюет за себя против себя, сама с собой». И, по мнению генерала,

терпит поражение, с чем не может никак согласиться объявивший охоту на гулийцев Пухов, который часто ловил себя на мысли, что мстит не за мать, а именно за поруганную Россию.

Поначалу складывается впечатление, что конфликт между «русским Рэмбо» Пуховым и Сактагановым носит межэтнический, замешанный на старых исторических обидах характер. В журнальном варианте романа было даже неясно, отчего взбрело в голову гулийцам вообще напасть на ставропольскую станицу Отрадную (Буденновск) и столь целеустремленно расправиться с проживавшей там матерью Пухова. И только последовавшее вскоре отдельное издание романа, в текст которого были внесены отсутствовавшие в журнальном варианте эпизоды, позволило с большой долей уверенности рассматривать сюжет произведения как интерпретацию близнечного мифа. После этого уже вряд ли кто взялся бы оспорить, что к каноническим мифологическим парам — Озирис и Сет, Шу и Тефнут, Кастор и Поллукс, Ромул и Рем, Каин и Авель, Иаков и Исав — благодаря талантливому русскому писателю есть все основания прибавить отныне и близнечную связку Пухова и Сактаганова.

Несмотря на романное многолюдье, их всегда только двое, противопоставленных друг другу, но и одновременно не мыслимых, более того, просто не возможных один без другого. В лишенном визуальной перспективы литературном тексте неподдельный страх внушает не полное физическое сходство близнецов, а ассоциируемая с ними зараженность насилием, рождающегося из духа соперничества между равными и одинаковыми, которому нет конца. «Близнецы-двойники — маска насилия, а не свидетельство победы над ним», — говорил

В. Подорога в связи с гибелью нью-йоркских Twins 11 сентября 2001 года.

Что же позволяет интерпретировать соперничающий дуэт Пухов – Сактаганов в парадигме близнечного мифа? Во-первых, у обоих, согласно романной идее, одно и то же предназначение – спасти Россию и стать родоначальником некоего нового народа. Во-вторых, они ровесники, выбравшие для себя одну и ту же стезю – военную, что значительно усиливает представление о близнецах как опасной и смертоносной силе. В-третьих, родина обоих – Северный Кавказ, где на рубеже веков происходили поистине тектонические сдвиги, имеющие для страны действительно судьбоносное значение. В-четвертых, некая тайна окутывает их семейное происхождение. О родителях гулийца ничего не сообщается, но личным врагом для него Пухов становится после того, как тот в Гулистане совершает на первый взгляд совершенно бессмысленное убийство одного старейшины, выступающего нередко на Кавказе в роли отца, в данном случае – символического отца Сактаганова. Русский же совершенно не случайно генетически маркирован как сын одинокой женщины-прачки, немой от рождения, то есть ограниченной в личных коммуникативных практиках. Именно мать, а не ее сын – профессиональный военный убийца, становится главным объектом мести. Возникает достаточно убедительная версия: близнецы, ставшие результатом межэтнического брака и вскоре, как нередко случалось в СССР, распавшегося, поделены родителями. Убив старого гулийца, Пухов делает сиротой своего брата, который из духа соперничества поступает с ним аналогичным образом, восстанавливая нарушенное было статус-кво в схватке за Россию

и, что, наверное, более существенно, свою легитимность.

Позволю себе небольшое отступление. В одной из статей энциклопедического словаря «Мифы народов мира», где говорится, что в некоторых дуалистических близнечных мифах братья-близнецы, наоборот, не антагонистичны друг другу, а воплощают лишь два начала, каждое из которых соотносено с одной из половин их общего племени. И приводится в пример миф североамериканского индейского племени зуни, в котором правят два Возлюбленных близнеца. Они выступают в роли культурных героев, которые выводят людей из пещеры на солнце и дают им орудия и оружие. Почти как в буденновском случае, когда террористы – люди поистине пещерного мировоззрения – совершили свое преступление с помощью оружия, добровольно переданного им самой государственной властью. Кстати, последовавшее вскоре «Хасавюртовское соглашение» только подтверждает фатальность близнечного мифа для России. Масхадов и Лебедь – очередная близнечная пара – демонстрировали на уровне бессознательного могущество подобия. Мужественные лица старых вояк (одно-пол-чан?) словно оповещали весь мир, что «близнечный миф преодолен, и за равным и подобным не скрывается более страх перед первоначальным насилием». Другими словами, они утверждали обновленную, теперь уже совсем «безопасную», версию близнечного мифа. На месте как реальных пар близнецов Ельцин – Дудаев и Черномырдин – Басаев, так и вымышленных – Пухов – Сактаганов (хотя приоритет в обнаружении этого феномена принадлежит вне всякого сомнения Толстому, еще в «Хаджи-Мурате» обнаружившему поразительное сходство, чуть ли не

родство Николая I и Шамиля), появились уже не соперники, а партнеры, подобие которых порождало надежду на снятие конфликта различных прежних пар.

...Трудно не согласиться с В. Подорогой, утверждавшим, что любой первоначальный культурный опыт развивается из выработки отношения к другому, и близнечный миф представляет собой первоначальный опыт поиска равновесия между тем, что есть «Я», мое обособленное бытие, и тем, что есть «Другой». Разыгравшаяся в Буденновске мистерия на тему близнечного мифа, дает возможность иначе взглянуть на проблему «Я» и «Другой», очень важную и в изначальной архетипике русской культуры и для понимания самой сути российской цивилизационной стратегии. Ведь ненависть и месть лишь симптомы буденновской трагедии. Не произошла ли она от того, что коммунистическая идеология (в основе которой лежала аскеза) и олицетворявшая ее псевдоинтернациональная элита, с ее пренебрежением традиционными символами и исторической памятью, стали в конце 1980-х — начале 1990-х годов источником бунта бессознательного, что привело к возвышению национальных элит, а затем и к войне. Архетипу, лишённому привычных символов, нашли новые символичные одежды в прошлом. В лежащем «чеченском волке», возвращении «законов рода и гор», в террористических «актах исторического возмездия» можно видеть свидетельства того, что человек прошлого, живший в мире архаических коллективных представлений, возродился, прямо по Юнгу, вновь и в самой видимой болезненной реальности.

Вот такие мысли вызывает после прочтения и по прошествии двух десятилетий удивитель-

ный роман Юрия Козлова «Колодец пророков», соединивший в своем названии два сакральных для верующего человека слова. Их дешифровка остается увлекательной целью отдельного исследования, любой результат которого всегда будет восприниматься полемично, ибо всякая настоящая литература не дает однозначных ответов, а побуждает каждый раз к поиску новых.

И еще. Роман стал не просто литературным событием времени, он помог каждому думающему русскому человеку, оказавшемуся со всем народом на дне самого глубокого колодца, все-таки увидеть далеко вверху брезжащий свет, который уже тысячу лет манит нас чистой и надеждой. ■